

Глеб Иванович Успенский

Избушка на курьих ножках



Глеб Иванович Успенский
Избушка на курьих ножках
Серия «Кой про что», книга 9

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665965

Аннотация

«...Рассказ... построен на противопоставлении идеализированного представления о крестьянской жизни в труде для себя (хотя и с оговоркой: «если только благополучно утвердиться») – тяжелой жизни оторвавшегося от земли крестьянина, скитающегося на заработках по городам и селениям. Но жизнь Михайлы с женой, осевших опять на землю, и в крестьянстве показана писателем-реалистом без народнической идеализации – в тяжком труде и во всевозможных «недостачах», в «большом горе людей, живущих в маленькой избушке»...»

Содержание

I	4
II	10
III	18
IV	28
Примечания	46

Глеб Иванович Успенский

Избушка на курьих ножках

(продолжение предыдущего)

I

– Подумаешь, подумаешь, – какой еще жизни надо нам от бога просить, кроме крестьянской, ежели только бы мало-мальски благополучно утвердиться?

Вслух сделав этот вопрос, возница мой не дал на него никакого определенного ответа, а только глубоко вздохнул, хлестнул лошадей и опять замолчал. Мы оба молчали с ним и оба много думали молча, возвращаясь после «осмотра двора» домой. И было о чем подумать нам обоим. Он – бедный крестьянин-труженик, много видевший на своем веку, – с глубоким благоговением смотрел на благосостояние двора, в котором будут жить и хозяйствовать будущие молодые, здоровые и веселые муж и жена, и то, повидимому, вполне возможное удовлетворение всех самых широких желаний крестьянской мысли и потребностей, которое он видел в благосостоянии осмотренного нами крестьянского хозяйства, родило в его уме множество воспоминаний и дум, закончившихся многозначительным и глубоким вздохом человека,

хорошо знавшего, в чем заключается крестьянское счастье, но не много видевшего этого счастья на своем веку.

Было о чем подумать и мне, не крестьянину. Осмотр двора, в котором будут со временем жить и хозяйствовать Сергей и Марфа, и на меня, человека постороннего крестьянским идеалам и желаниям, произвел впечатление не менее многосложное, чем на Михаилу. Хорошо, и всего в доме много; все есть: дом – полная чаша. Но, думалось мне, неужели же только на мысли или заботе о едином хлебе будет основан весь этот сложный обиход жизни, и притом жизни до конца дней? Мы пересмотрели каждую малость до косы, грабель, сохи и косаря включительно; все это потрогали «собственными» своими руками; переглядели зубы у каждой лошади, щупали у коров в боках, в ребрах; щупали что-то в шерсти живой овцы, даже в ее живое мясо запускали пятерни до того, что овца начинала протестовать бляением. Всем сонмищем гостей, отцов, матерей и посторонних зрителей и любителей с удовольствием вязли мы по колено в жирных и глубоких пластах накопившегося в скотнике навоза и по чистой совести говорили слово «благодать!», если приходилось увязнуть выше колен; но в конце концов меня, как непривычного человека, начинало утомлять обилие трудовых приспособлений, обилие мелочей, обставляющих этот вековечный непрерывный труд – труд для одежды, «обужи», чтобы, приобретя то и другое, приобрести в, конце концов и кусок хлеба, а при его помощи опять же биться из-за одежды и из-

за «обужи», и так жить до конца дней.

«Неужели же все это – о едином хлебе?» – не без страха перед ничтожностью суеты сует приходило мне в голову, по мере того как внимание мое все более и более утомлялось обилием хозяйственных мелочей. Я невольно припомнил свой собственный опыт деревенской жизни, притягивающий как отдохновение от суеты сует городской, и находил, что и деревенская суета сует не выработалась ни во что иное, кроме пустопорожного недосуга.

Но едва мысль отрешалась от впечатлений, возбуждаемых обстановкою хозяйственного крестьянского двора, и прикасалась к тем впечатлениям, которые в городе побуждали меня иногда искать «отдохновения в деревне», как тотчас же воображение начинали осаждать такие воспоминания, от которых становилось несравненно страшнее, чем от утомляющих мелочей добывания крестьянского хлеба, крестьянской одежды и «обужи».

Между прочим совершенно неожиданно вспомнилась небольшая газетная заметка, которую я прочитал накануне во время дороги. В каком-то судебном учреждении, где были прокурор и адвокат, разбиралось дело о крестьянке (я забыл ее фамилию), обвинявшейся в небрежном отношении к своему ребенку. Дело заключалось в том, что ребенок был оставлен без надзора матерью-поденщицей в углу, который она занимала. В отсутствие матери, ушедшей на поденщину, ребенок влез на окно и по неосторожности свалился со вто-

рого этажа на мостовую двора, расшибся и, кажется, умер. Не могу припомнить, умер ли он или нет, но о его увечье был составлен протокол и препровожден куда следует. Без виноватого и протокол не в протокол. Привлечена была мать, виновная в таком нерадении, последствием которого было увечье ребенка и даже, кажется, его смерть. Прокурор требовал подвергнуть ее двухнедельному тюремному заключению; защитник был снисходительнее и покорнейше просил ограничиться штрафом в три рубля. «Последнее слово» обвиняемой состояло в том, что она просто только показала суду свои мозолистые руки, объявила, что, работая поденно за 30 копеек, она не может заплатить суду трех рублей и что если ребенок ее и расшибся, то потому, что брать его с собою на работу нельзя, а нанимать ему няньку нет средств. Все это оказывалось столь простым и удобопонятным, что обвиняемая, кажется, была оставлена без наказания.

В деревне оставленный матерью ребенок может также вывалиться из окна и умереть от ушиба, он может даже всю деревню сжечь, оставшись один. Но никому в голову не придет представлять во имя справедливой кары какую-то комедию единственно из-за того, чтобы заработать на ней средства к жизни. Ребенок может убиться, умереть и пролежать мертвым целые сутки; наконец, его может съесть свинья, но виноват в этом будет только подлинно виноватый, то есть случай, благодаря которому ни матери, ни людей дома не было и некому было помочь, заметить пожар, прогнать свинью, по-

мочь ребенку.

Тот кусок хлеба, который добывается деревенскою хозяйственной, тянущейся всю жизнь от колыбели до могилы, суетой сует, – мне кажется, ставит и душу человеческую в невозможность быть проданной из-за куска хлеба. И во мне рождается сомнение: точно ли в этой хозяйственной суете сует забота только о едином хлебе? Может быть, в этой неустанной суете сует вокруг своего дома и своей личности оказывается самая тонкая щепетильность человеческого достоинства, не желающего подвергнуть малейшему насилию свою неизломанную душу?

Вот какие думы волновали меня на возвратном пути с «осмотра двора», и я был душевно рад, когда мои колеблющиеся мысли были сразу прекращены неожиданным возгласом Михайлы, также крепко думавшего обо всем виденном и слышанном нами. Думал он по-своему, по-крестьянски; до поразительности ясно видел перед собою красоту и «благодарь» хорошего, прочного крестьянского хозяйства, и в тоне его голоса, которым он нежданно-негаданно произнес слова о том, что ежели бы бог дал хорошо устроиться по-хозяйски, так человеку и желать больше нечего, слышалась такая незыблемая вера в каждое слово, что я с радостью прекратил мои тревожные думы. Я просто оборвал их и был рад слышать уверенную, твердую, ни в одном слове не выдуманную человеческую речь...

– А все-таки, – сказал я, чтобы вызвать Михайлу на раз-

говор и прекратить свои собственные размышления, – все-таки и вам без денег в хозяйстве не обойтись!

– Да ведь как же обойдешься-то! – неохотно проговорил он и замолчал.

II

Ехали мы с Михайлой медленно; времени у нас было много; оба мы знали, что до отъезда на железную дорогу вдоволь еще успеем насидеться и дома и на вокзале; впечатления виденного навели нас на трудные и многосложные размышления, и мы оба, хорошо это понимая, свободно предавались молчанию, зная, что не стесняем этим друг друга. Лошади шли тихонько по грязноватой лесной дороге, которая размякла под вечер от какой-то густой сырости, распространившейся по земле под вечер. В вечернем сумраке, окруженные густым сырым воздухом, недвижно, не шевеля ни одной веткой, медленно проходили мимо нашей телеги голые деревья; ни звука, ни птички, тишина и молчание.

И долго молчали мы после последнего замечания о деньгах; вопрос мой о них, очевидно, попал в течение мыслей Михайлы и осложнил их новыми соображениями. Долго не говорил он ничего, и долго я видел перед собою только его широкую спину и широчайший воротник его армяка, поднятый выше затылка. Думал он о чем-то, тихо понукал лошадей, шевелил кнутом и молчал.

– Деньги! – наконец нерешительным голосом произнес он, слегка повернувшись в мою сторону. – Деньги, оно, конечно, что говорить... А уж как они нашему брату, мужику, трудны – так это не дай господи!..

Подумал он, помолчал и проговорил:

– И опять сказать – складу у нас округ денег нет настоящего.

И опять Михайло подумал и опять сказал:

– Вон один мужик как-то у нас оставил сыну пятьсот рублей денег, а сын-то, чем бы как добром их обернуть, только и выдумал вместе с матерью ломаться над женой да над жениной родней, потому бедные крестьяне. Мудрят оба над нищими – только и проку вышло от денег... А без денег, может, и просто бы вместе с женой в упряжке шел, тихо, смиренно... Как тут разобрать?.. – Михайло снова замолк, что-то соображая. – Или так сказать: приходят деньги по препорции, – продолжал он, – и тогда хорошо бывает. Вот хоть бы взять Петькина отца¹. Уж, кажется, всю семью прямо на голодную смерть вел. Во всем расстройство – ни хлеба, ни одежды... Что сработает на рубль, на полтора по плотницкой части, то и пропьет с горя... А как попал махонькой Петюшка на фабрику спички делать и стал каждую субботу аккуратно деньги приносить – гляди-кось, теперь вся семья и стала на ноги! Право слово! И мать Петькина хоть на человека похожа стала. Прежде, бывало, идет – грудь голая, на плечах мужнин армяк лохмотьями по голым ногам бьет, а теперь, ей-богу, на человека похожа! Да и сам-то хоть немного от пьянства отчихался, все по дому стал больше хлопотать... А все на Петьке держится... Родители-то его почитают: «Кор-

¹ См. рассказ «Петькина карьера».

милец наш, говорят, ты наш хозяин, Петенька золотой!.. Не погуби нас!..» Вот Петька-то и раздирается; прежде коробки клеил, а теперь уж и в самое пекло влез... Слаб мальчонка, «рвота, говорит, иной раз от спичкинова составу-то донимает», а все прет, серденок... Ну а как Петька-то помрет, задохнется от составу-то?.. Легко ли дело этакому мальчишке на своей шее эку ораву выволочь? А в крестьянстве-то, ежели то есть господь даст все благополучно, – ан там-то дело-то подтверже будет, и спичек своих можно будет сделать!.. Михайло стегнул лошадей и сел ко мне совсем полуоборотом.

– Или, примером, взять тож с этими спичками другой оборот. Есть тут у нас мужичок Спиридонов с женой и с пятью детьми... И жил он до этих самых спичек вполне покрестьянски, форменно... А с пятью-то детям сам, чай, знаешь, легкое ли дело хлеб-то добывать?.. Ребятишки не велики, помощи от них не видать – оно и захрустит в хребте-то. Ну, однакож, жили хоть и трудно и бедненько, а по-хорошему, на порядочном положении... Вот и пробираются в наши места эти самые спички... Стали собирать ребят, стали лакомить деньгами... Шутем-шутем, то Петюшка гривенник притащит, то Марфутка пятак волочит; то коробки какие-то, то лучинки – так, на мужицкий глаз, плевое дело. А между прочим – деньги-то дают! Вот и стали родители во вкус входить... Понемножку да полегоньку – и Спиридонов-то всех своих пятерых представил на фабрику... Да как стали они пятеро-то ему каждую неделю по полтора целковых прино-

сидеть каждый, так они оба с женой-то и раскисли... Расслабели, развезло их от полного удовольствия! «Пойдем, Авдотья, в трактир, попьем, погуляем с тобой! Господь нам радость послал! Думали, как бы с ребятами по миру не пойти, а вон какой оборот вышел! Ровно помещики мы с тобой, Дунька, оказались! Теперь рожай сколь хошь! Не робей! Окончательно проживем на белом свете по-хорошему... Пей, Дунька, ничего, слава богу, господь нас не оставляет!» Ну а как господь-то оставит? Как привыкнет Спиридонов-то не беспокоиться? А как ребята от хозяйства отвыкнут? Тогда что?

Михайло замолчал, вопросительно глядя на меня:

– Вот деньги-то! – сказал он, тряхнув головой. – Нескладно у нас что-то с ними в крестьянстве!.. Уж нет того хуже, как мужику да без крестьянства деньги на хлеб добывать! Не приведи царица небесная!..

Михайло с глубоким отчаяньем махнул рукой.

– Страшно, страшно, братец ты мой, идти по свету копейку на хлеб добывать!.. – продолжал он с дрожанием в голосе. – Вот он, свет-то белый, на все четыре стороны, конца краю ему нет! Иди! Отыщи в нем гривенник!.. Нет! Не дай бог лихому лиходею отведать этого!..

Я не понимал того чрезвычайного волнения, которое чувствовалось в голосе Михайлы, когда он говорил последние слова, и молчал.

– Мне вот, ежели сосчитать, – продолжал Михайло нервным и дрожащим голосом, – почитай уж за сорок перева-

лило... Работаю я по дому один с бабой, ребятенки маленькие, иной раз и хребет не покоряется – ни согнуть, ни разогнуть... И дожили мы своими трудами, сам ты знаешь, до мышинной норы. Не то дом, а избой назвать нельзя нашего жилья... Не больше как на курьих лапках, на веретенных пятках избушка, как в сказках сказывается, а и то она мне земной рай! И за то я и денно и ночью бога благодарю, что удостоил он меня к тихому пристанищу пристать!.. И с голоду будем сидеть, кору с высевками мешать, и то я своей норы не оставлю!

– А если хорошее место попадетя? – оказал я, желая случайным и незначащим вопросом немного поуспокоить взволнованного Михайлу.

– Золотом осыпь – и то не пойду из своего угла, не покину своей землишки! Ты спроси-ко у меня, как я жизнь-то свою перестрадал без крестьянства-то! Спроси-кошь ты меня, как я гривенник-то на хлеб на соль по белу свету разыскивал! – так вот тебе и станет явственно видно: тебе сказывает – избушка на курьих лапках, на веретенных пятках близ тракту стоит, где извозчик Михайло с семьей бьется; а мне оказывает – рай пресветлый, а не на курьих ножках! Вот как я нору-то мою по моим мучениям понимаю!..

Михайло, вдруг сняв с головы шапку, перекрестился широким крестом и произнес торжественно:

– Благодарю моего господя! Приютил меня на святой своей земле!.. Доволен, ничего больше не желаю!..

Громко и долго благодарил Михайло бога за его милости. Наконец, немного успокоившись и надев шапку, он оборотился ко мне и еще раз проговорил:

– Ты меня спроси, что я терпел! так и будет тебе известно, что такое за жизнь крестьянина да без крестьянства!..

Предложение Михайлы было для меня как нельзя более приятно: времени, повторяю, у нас с ним было вдоволь, при том времени совершенно свободного, такого, какое именно и хорошо для простого, душевного разговора вообще о жизни... Но не успел я открыть рта, чтобы с радостью, которую пробудило во мне предложение Михайлы, сказать ему: «пожалуйста, рассказывай!», как что-то горькое шевельнулось у меня в сердце и на мгновение заставило замолчать.

Горько мне стало от воспоминания о том, что ведь я давно знаю Михайлу. Лет пять я уже вообще знаком с ним, а года два имею постоянные сношения с ним каждый раз, как приезжаю в деревню. И вот оказывается, что в эти пять лет мне ни разу не пришлось в голову узнать жизнь этого человека, который сотни раз привозил меня домой, увозил из дому, хлопотал о моих поручениях, советовал и объяснял, «как лучше» сделать то или другое деревенское дело... Через пять лет знакомства сам Михайло говорил мне: «кабы ты знал мою жизнь!», а я в пять лет изучил только манеру Михайлы ездить, изучил цвет и качество его армяка, в котором он сидел ко мне спиной, помнил его шапку, бороду, глаза, улыбку, знал такие нравственные качества, как честность, акку-

ратность, знал, что он живет в избушке на курьих ножках, а какова жизнь этого уже пожилого человека, как он прожил ее, что его держало на свете – спросить не догадался!

А все наш недосуг, «то то, то другое», все та «своя часть», которая теперь исключительно наполняет все существование россиянина, довольствующегося и обремененного микроскопическими заботами собственной кутузки. Постепенно, медленно, но систематически шло у нас на Руси это дело разъединения людей в общих вопросах жизни, и не вдруг воспиталось уменье наполнять жизнь целого дня пустопорожней суетой личного недосуга; но в конце концов невнимание к жизни ближнего воспиталось-таки в нас в весьма достаточной степени.

Вот мне и стало горько и обидно за себя, что я мог быть пять лет невнимательным к человеку, почти постоянно бывшему на моих глазах. И теперь, в дороге, в полном досуге, когда никаких личных беспокойств и мелочей не предстояло разрешать и обдумывать, мне показалось просто непостижимым, каким образом могло случиться, что я так мало интересовался таким любопытным в однообразии деревенской жизни человеком, как Михайло? С толпой народа, с толпой народной массы можно было быть разъединенным: эта разъединенность прямо воспитывалась в нас, и всякое сближение с массой вообще ниоткуда не получало ни капли поощрения. Тут можно было сначала привыкнуть к осторожности, а потом уже стать совершенно равнодушным и довольствоваться-

ся своей частью. Но Михайло вовсе не подходил к «толпе» – он был «сам по себе», он сам на моих глазах только вступал в народную массу, только становился мужиком и вообще не подходил ни под какие инструкции. И однакож, благодаря медленной, постепенной практике в отчуждении от людских интересов, вышло так, что я ровно пять лет мог самым небрежнейшим образом относиться к крайне любопытному человеку, и нужна была такая случайность, как целые часы полнейшего досуга, которого некуда было девать, и, кроме того, нужно было нежданное-негаданное предложение самого Михайлы – узнать его жизнь, чтобы я вспомнил о том далеком времени, когда Михайло на минуту заинтересовал меня...

III

Это было пять лет тому назад, в самое благословенное время деревенской весны. Для художника этот момент весны не дает никаких ярких и радующих красок: рыжая мертвая трава, кое-где еще придавленная почерневшими, отверделыми пластами снега; голые и притом кажущиеся как бы голодными и холодными деревья, истощенная, вялая, пролежавшая себе бока до голого тела скотина, вся запачканная, неряшливая, и такие же смятые, скомканные, побледневшие, отощавшие за зиму люди – все это не возбуждает художественного волнения; но на все это нищенство природы, людей и животных ярким полымем палит развеселое солнце, а среди холодной и голодной растительности берегов разыгралась река, с каждой минутой поднимающая все выше и выше свои воды, всегда в эту пору года отливающая самым нежным лазуревым цветом. Начинается воскресенье из мертвых, мертвец начинает теплеть, и счастье жить на белом свете ощущается всем живым и веет от всего неживого.

В такую пору, когда от разливов и от таяния снега по полям и дорогам крестьянину нет возможности ни выехать, ни пройти из дому, хоть бы за сеном, за дровами или на базар, чтобы что-нибудь купить или продать, весь деревенский народ некоторое время находится в полном бездействии, отогреваясь на солнце, любясь начинающимся воскресением

природы из мертвых. Тепло на дворе, хорошо, хоть и голодно и холодно в избе. Хорошо так-то постоять середь улицы, просто постоять, поглядеть на небо, спину погреть на солнце, плечами от удовольствия пошевелить... Дрема какая-то стоит над деревней, дрема приятная: даже скотина, ободранная и пролежавшая себе бока, стоит в пустом поле и не пытается опустить к земле голову, чтобы рвануть клочок рыжей травы... Она только дремлет, подставляя голый бок теплomu солнцу...

От нечего делать в это время любимое занятие деревенского старого и малого – ходить на речку смотреть, как ее поднимает. Наша речонка, летом почти совершенно пересыхающая, весной совершенно преобразуется. Речонка эта идет из глухих лесных мест самыми прихотливыми извилинами, круто поворачивая почти на каждых ста саженях. Весной она так высоко поднимается в берегах, что делается удобной для сплава леса и дров, заготовленных за зиму в лесной глуши у ее истоков. Вот на эту-то гонку леса и ходят смотреть деревенские жители. Впрочем, нельзя сказать, чтобы одно только зрелище гонки привлекало деревенских зрителей: иной раз, и очень часто, какое-нибудь бревно, зацепившись за какой-нибудь камень, которыми усеяно все дно речки, остановится, загородит дорогу бревнам, которые за ним следуют, и остановит всю гонку. Бревна или дрова огромной сплошной массой застелют тогда всю поверхность воды; иногда надвинутся и налягут друг на друга в несколько

рядов и лежат так до тех пор, пока не прибегут рабочие лесоторговца, занимающегося сплавом, и не разобьют запруды. Но так как рабочие иногда не появляются по дню и больше, то нижние слои бревен и дров, пролежав долгое время в воде, намокают и ложатся на дно. Так вот эти-то мокрые дрова и бревна, не меньше чем удовольствие чувствовать начинающееся воскресение, привлекают деревенских зрителей на берет реки... Пройдет гонка – и мокрые бревна и дрова вылавливаются со дна реки, сушатся и идут в дело. Бог послал!

Пять лет тому назад, так же как всегда, объятая дремой ничего неделания и удовольствием чувствовать воскресение из мертвых, деревня, старая и малая, рассеялась на берегу речки и глазела на гонку леса. Был тут и я. Бежали сплошными массами дрова, бежали опрометью, сломя голову. За дровами после некоторого перерыва понеслись бревна, большею частью поодиночке, одно за одним или уж много по два, по три... Налюбовавшись этим зрелищем, иные хотели уходить, когда после одного перерыва между одной гонкой и другой вдруг на изгибе речки показалось что-то небывалое.

Прежде всего ясно очертилась белая полоса, во всю ширь реки, означавшая приближение дровяной гонки, а за нею показались, очевидно в самой середине этой сплошной площади дров, какие-то вздымающиеся вверх шесты, очертились какие-то человеческие фигуры, затем слышались голоса, и не успели мы сообразить, в чем дело, как мимо нас пронеслось нечто никогда не виданное. Сначала стремительно

прогремели, стуча друг о друга, сплошные массы дров, затем среди этой же массы, вертясь от быстрого и бурливого течения речки, расталкивая и толкаясь о дрова, о берега, кружась, не проплыл, а мелькнул мимо нас плот с двумя человеческими фигурами. Одна из фигур показалась нам бабой с ребенком; она сидела скорчившись около чего-то, похожего на узел. Мужчина, бывший на плоту, очевидно, старался из всех сил, поворачивал направо, налево, пихая шестом в берег, в воду, и, повернувшись на повороте, исчез вместе с плотом, с бабой и со своим шестом. Вслед за ними мчались опять дрова, точно догоняя, и опять среди них пронесся другой плот с другим мужиком, который, также вертясь вместе с плотом и шестом и имея вообще какой-то иступленный вид, мгновенно пронесся мимо и как бы опрокинулся за поворотом речки. Все это было делом нескольких минут, но впечатление появления каких-то необычных путешественников было так сильно, что все, кто только ни был в это время на берегу, не говоря друг другу ни слова, все, как один человек, бросились бежать по направлению к мосту; мост был близко, а река делала много извилин, прежде чем доходила до моста. Следовательно, путешественники должны промчаться под мостом гораздо позже того, чем заинтересованные зрители добегут до него. И зрители, от которых не отставал и я, точно успели к месту предстоящего зрелища гораздо раньше прибытия путешественников.

Когда мы впопыхах прибежали к мосту, там уже находи-

лась группа людей, мужиков и баб, которые стояли на мосту и смотрели именно в ту сторону, в которую следовало смотреть и нам. Увидав, что из соседней деревни бежал народ (мост соединяет разные деревни), какая-то женщина из группы, стоявшей на мосту, подошла к нам и спросила:

– Вы чего бежите-то? Ай что случилось?

– Каких-то мужиков на плотах мимо нас пронесло... Так и вертит вертком!

– Ай уж прибежали? – весело спросила баба. – Иван! – крикнула она мужику, стоявшему на берегу у моста с лошадыю... – Пробежал Михайло-то!

– О?

– Сейчас его донесет! Шест-то припаси... Схватиться!

– Веревкой складней зацепить!

– Это кто ж плывет-то? – спросили в толпе.

– Да тут один мужичок... Жить хочет у нас.

– Не здешний, что ли?

– Нет, он здешний, только подолгу дома не бывал, а теперь вот на свою землю сесть хочет...

– А-а! Так чего он плыл-то?

– А это он дом перевозит; домишко купил на снос, так вот по воде и помчал. А бабу не видали там?

– И баба есть, с ребенком.

– Ну, они!.. Ну, дай бог! – радостно говорила баба. – Нама-ялся, намаялся сердечный! Дай бог здоровья Емельяновым – добрые люди. Слова не сказали – двадцать пять рублей дали

в долг: вот он и купил хатку-то! баню никак, да все угол!

– Это какие же Емельяновы? – спросил кто-то, интересуясь добротой, выраженной двадцатью пятью рублями.

– Да такие вот, хорошие, не нашенские... Муж да баба, а детей у нее нет... Вот она, добрая-предобрая, и подбивает мужа добро делать. Приди, Расскажи – завсегда поможет! Вот на них-то Михайло и напал, а то бы сердяге так и пропадать с бабой.

– Так и дала без всего, без залогу?

– Так и дала... Идет Михайло, шатается, не пил, не ел, а она навстречу... «Что да что?» Тот и рассказал, ну, она говорит: «Пойдем к мужу!» Привела, позвала мужа: «Вот что, Егорушка, оправь человека!..» Только и всего. Так муж-то любит ее больно; горе – детей-то нет, а от отца им большой недостаток остался... Ну муж-то уж и не слушается. Вынул асигнацию – «поправляйся!» Вот Михайлу-то как бог спас... Ты думаешь, нет добрых людей?

– Эво! Эво! – загалдели в толпе зрителей. – Эво как ворочает! Плывут! Ребята, бери на берег! Разобьется об мост...

Действительно, пловцы с шестами в руках, вертясь на своих плотках, стремительно вынеслись из-за поворота речки и неслись к мосту. Народ бросился с моста на берег, зашумел и загалдел. Пошел какой-то обоюдный крик с плотов на берег и с берега на плоты. Поднимались и бросались шесты, веревки, и, наконец, путешественники были пойманы у самого каменного быка, подпиравшего конец моста, и выбрались

на берег. Они были изнурены до чрезвычайности... Баба едва сделала два шага, как ноги у нее подкосились и она села с ребенком на сырую землю. Мужик с первого плота прямо повалился на землю, едва ступив на берег, и тяжело дышал, шепча: «Погоди, братцы, закружило!» Еле-еле, как пьяный, держался на ногах и другой мужик с другого плота, каждую минуту готовый свалиться навзничь. Но он удержался, имел силу снять шапку, поклониться народу и сказать:

– Дай вам бог!.. Н-ну, здравствуйте!..

– Здравствуй, здравствуй, Михайло!.. – весело говорила та женщина, что первая встретила нас на мосту. – Где узел-то? Сундук-то есть ли?

– Не-ету... с-сундука!..

– Ну, пушай! Пойдем! Пойдемте чай пить!. С приездом. Дай бог счастливо! Помогите вам царица небесная!

Об этой женщине будет рассказано особо.

Вот при каких обстоятельствах появился Михайло опять на родине после продолжительных многолетних скитаний. В этот весенний день я увидел его в первый раз, а затем потянулись дни и годы, в течение которых много раз приходилось вспоминать его, видеть, а потом и дела делать, но не приходилось интересоваться его жизнью.

Помню, что после первого появления Михайлы в наших местах, спустя много времени, увидел я, что кто-то строится при дороге в пустом, незастроенном месте. Лежат четыре черных бревна, означающих начало постройки, а сбоку их

целая куча других бревен.

– Кто это строится? – говорю от нечего делать извозчику.

– Да тут наш один... Приплыл-то!

– А!..

И еще полгода проходит, и опять еду мимо Михайловской постройки, и опять от нечего делать спрашиваю:

– Что же это он все никак не выстроится? всего только стены кой-как сложил?

– Да недостача все... Они ведь только с бабой двое бьются-то.

– Как с бабой?

– Да так. Оба возьмут дерево и волокут... Нешто легко...
Нанять-то не на что... Ну и баба тоже у него – не отстает!..
Бьются крепко!..

– Крепко бьются?

– Страсть!

А через год опять пришлось спросить:

– А-а! И огонек уж светится?

– Как же! Уж живут.

– Давно ли?

– Да уж с месяц никак живут!.. Ишь, уделали! Сам с бабой крышу крыл! Лазият оба по крыше-то!..

– И баба лазит?

– Та уж не отстанет. Ишь, какой уделали упокой!

– Да, ничего!

– Чего ж!.. Ишь, и дерево посадил под окном. Красивей!

Поглядел я и на дерево. Затем проехал мимо и позабыл.

Но однажды Михайло сам очень близко подошел ко мне и положил основание более близкому знакомству: во выюжную зимнюю ночь, когда на станции не было ни единого извозчика, ко мне подошел Михайло, обвязанный весь какими-то тряпками, и робко предложил довезти. Крайняя робость в голосе, которым он делал предложение (тогда как другие извозчики набрасываются с громкими криками на седоков), объяснилась очень скоро. Лошадь Михайлы оказалась столь бессильной и микроскопической, что едва протащила нас сажень сто и стала. Михайло, который был ростом вдвое более своей лошади, слез первый и еще сто сажень вез маня вместе с лошадыю, схватившись за оглоблю, но под конец оба они остановились, и Михайло тем же робким голосом сказал:

– Уж извините, сделайте одолжение! Нейдет! Вещи представлю... а уж извините... пешечком приходится!

И так мы на этот раз пришли домой пешком. И с этих пор Михайло всякий раз появлялся на станционной платформе именно в такие минуты, когда ямщиков нет: буря, рабочая пора, проливной дождь. Предложение подвезти он всегда делал самым робким голосом и с самым робким выражением лица, так как он наверно знал, что подвезти – значит, идти пешком. И так продолжалось довольно долго, но не знаю, возмужала ли его лошаденка, или он выменял другую, только настали времена, когда с Михайлом можно было уже достигать и до самого дому, не вылезая на дороге, а затем ма-

ло-помалу переменялась и телега, и лошадь, и Михайло стал не хуже других постоянных извозчиков станции.

И вот никак не менее двух лет я знаю Михайлу довольно близко, как близко сидящего ко мне ямщика; знаю его шапку, армяк и бороду, а жизни его не знаю, и он сам советует мне узнать его жизнь. Но, слава богу, дело было на досуге, ничто мне не мешало, и я был рад, что с удовольствием и совершенно искренно мог сказать ему:

– Пожалуйста, Михайло, расскажи!

И Михайло охотно стал рассказывать. Рассказывал он и в дороге, и дома, где мы от нечего делать пили чай, и на вокзале, где тот же чай сокращал часы ожидания поезда. Пересказывать всего мною слышанного я не буду: обилие частностей и случайностей может бесплодно утомить читателя. Достаточно пересказать только то, что может дать понятие о большом горе людей, живущих в маленьких избушках.

IV

– Вот в этой самой руке, – между прочим, рассказывал Михайло, – когда еще и мне и руке-то моей только что десятый год шел, держал я, братец ты мой, ножик кухольный, и к горлу моему этот ножик подносил, жизни хотел лишиться – да господь меня спас!.. Вот какая была моя жизнь сызмальства!..

Отец Михайлы хоть и считался крестьянином, но с ранних лет совершенно отделился от крестьянской среды. Рано оставшись сиротой, он лет до десяти кое-как нищенствовал в деревне, а с десяти лет попал в кабак и с тех пор не покидал его до конца дней, то есть прошел всю кабацкую службу при акцизном управлении, изучил все тонкости кабацкого плутовства, приучился пить и гулять и с этой привычкой окончил жизнь. Вся жизнь этого человека была как бы пропитана запахом водки и состояла из бесчисленного количества поступков, исходною точкою которых исключительно были особенные свойства этого напитка. Гульба, распутство, плутовство, нищенство, воровство, острог, буйство дома, опять кабацкое дело, опять пьянство и нищенство и т. д. Женился отец Михайлы на его матери «из одного форцу». Гуляя, он франтил и форсил на вечеринке и стал заигрывать с одной красивой девушкой. Но эта девушка грубо оттолкнула его, сбила с него спесь и вообще очень сконфузила кабацко-

го франта. Кабацкий фронт обиделся и тут же объявил, что не умрет, не женившись на этой обидчице. Всевозможными способами и главным образом при помощи той же кабацкой водки стал он добиваться своей цели – и бедная глупая родня пропила-таки ему сердитую девушку... Выкинув это колено, кабацкий фронт пожил с женою неделю и ушел опять к старой любовнице, откуда он присылал за водкой и за деньгами. Жена, заменявшая его в казенном кабаке, где он служил, с этого времени должна была сама изучать все кабацкие тайны, подмеси, подделки, обмер, подделку печатей, воровство и утайку денег и т. д. Так и пошло дело. Отец Михайлы исчезал из дому сначала месяцами, а потом и годами. Жена стала настоящей кабатчицей. А он то также где-нибудь торчал в кабаке (плутовавшее акцизное начальство дорожило такими плутами), то, когда выгоняли за явное мошенничество, брал какую-нибудь другую должность: десятника на новой строившейся железной дороге, потом поступал и в сторожа, когда дорога была готова, и всегда сходилась с женщинами, которых или обирал, или, напротив, которыми сам был обираем. Дома он появлялся только тогда, когда ему буквально было нечего есть; являясь, не глядел на детей, пил, брал, что можно было взять, с женой почти не говорил и, обобрав, уходил опять надолго до нового набега и ограбления... Но вот что странно и непостижимо и что Михайло рассказал с большим огорчением – это то, что сама мать Михайлы, вместо того чтобы оставить беспутного мужа навсегда, впадала

о нем иногда в ужасную тоску... Год и два она не помнила, не интересовалась даже и знать, где он; но приходила, наконец, такая минута, когда она начинала плакать о нем, жалеть, представляла, что он пропал, погиб, утонул, и, оставив детей на квартире у какой-нибудь старухи, отправлялась разыскивать мужа, истрачивая все, что накапливала она при помощи кабацкой науки. Разыскав его, она жила с ним неделю, много две, и потом опять возвращалась сердитая, ненавидящая своего пьяницу; опять принималась хлопотать в губернии о кабацком месте, ходила пешком по сотням верст, путалась в долги и, получив где-нибудь кабак, переселялась туда с семьей. А семья, несмотря на такие краткие, неприветливые, грубые свидания мужа и жены, росла, и когда Михайле было десять лет, у него уже были две сестры маленькие.

Вот на десятом-то году, после того как семья Михайлы не видала своего отца около полутора лет и когда она начинала уже радоваться, что он не вернется совсем, неведомо откуда неожиданно появился отец Михайлы и, не говоря никому ни слова, продал лачужку, которую купила мать Михайлы на свои деньги. Деньги эти он пропил и приступил к распродаже остального имущества. Без всякой церемонии он привел мужика и стал ему продавать платье и вообще все, что можно. Жену, оборонявшую свое добро, бил без разговоров. В это время Михайло ожесточился на отца и вступился за мать. Хотел было отец продать самовар, но Михайло не дал сделать этого. Он был мал и слаб и не его было дело всту-

пять с отцом в рукопашную, но он мог кричать, он выскочил на улицу, закричал во всю силу своего ребяческого голоса: «разбой!» Созвал народ, причем, конечно, женщин прибежало множество, и при помощи «добрых людей» не только отбил самовар, но и мать защитил от бушевавшего отца, которого народ решил вести в холодную. Все это сильно подействовало на пьяницу. В холодную идти он «не дался», а взял шапку и ушел, сказав:

– Когда так... ну так я вам докажу!

И исчез.

Но не прошло нескольких дней, как в избу Михайловой матери вошел староста и спросил у нее: знает ли она, где ее муж? Та, как и всегда, не знала. Тогда староста сказал: «Он продался в Соснинке в солдаты!..» Это известие почему-то ужасно поразило мать Михайлы. Не помня себя, забыв всех детей, она поспешно оделась и ушла...

Она ушла прямо в Соснинку к тому богатому мужику, который купил Михайлина отца. Ушла и пропала, а ребята остались одни, голодные и холодные... Мать Михайлы пропала потому, что семья, купившая ее мужа, богатая мужицкая семья, разжившаяся около крестьянских денег (глава семьи был старшина), боялась, чтобы она, из корыстных видов и желания часть покупных денег удержать за собой, не стала бы мешать делу у сельских властей. Сельские власти должны были дать приговор на то, что отец Михайлы может идти охотой в солдаты. Чтобы мать Михайлы не выторговала че-

го-нибудь и на свою долю, ее просто-напросто заперли в доме богатого мужика и никуда не пускали. Без нее, при помощи водки, были получены все приговоры, составлен продажный договор, по которому отец Михайлы продался за 400 рублей с рассрочкой на десять лет. В губернии, где поверялись эти сделки, в видах обеспечения семейства Михайлы, было сделано изменение в пользу его семьи. Михайлу обязалась взять к себе в дом до возраста купившая охотника семья, и она же обязалась платить по десяти рублей в год Михайловой матери.

– И не помню даже, каким родом я в чужой семье очутился и как меня от матери отняли... Помню, как мать приплелась еле живая после проводов отца, как потом приехала старостиха и серебряный рубль матери моей в руки совала, а больше-то ничего и не упомяну... Расслабели мы, наплакались, наголодались, пока мать-то уходила, да и маменька еле жива была, вся растерявшись и ослабевши... Плакали много! И потом опомнился я в старшиновом доме... Семья огромнейшая – и точно волчья стая... Ни один человек на меня ласково не взглянул – лишний рот прибавился в доме; на охотника, на моего отца, пропоили много денег, задолжали везде и на меня смотрели злобно... А я как оробел с первого шагу, так и дальше пошло: с каждой минутой все мне страшней да страшней у них... Забыюсь на печку, сижу иной раз целые дни, не пью, не ем... Где маменька? Зачем я здесь? Спросить, слово сказать боюсь... И стала меня с этого вре-

мении грызть тоска. Вижу я, что не жилец я на белом свете: отец «продался», мать в нищете, дом продан, а тут вокруг меня чужие враждебные люди. Замирает мое сердце, ничего передо мною нет, кроме могилы... Не знаю, как пришло мне на ум ножик спрятать... Утащил ножик, на печку спрятал, а рука не подымается... Все мать вспомню – заплачу... А между тем хватились – нет ножа. Искать, допрашивать начали... А я в таком был беспамятном состоянии, что и знаю – «надо признаться», а молчу. Однако ножик нашли у меня под полшубком в головах – и высекли. И так высекли, что весь я был в синяках, в рубцах, и рубашка от крови к телу присохла... Ну тут стало у меня почитай что помешательство ума. Пять суток не слезал с печи, не пил, не ел. Они уж звали меня, стали опасаться, даже силом стащили, а я опять забился на печку... И вдруг входит мать – я даже и не узнал ее – она была еле жива. С печи вижу мать, думаю – «вот радость-то!» Но мать и не поглядела на меня, а прямо в ноги к старости-хе повалилась, стала ее молить христом-богом выдать отцовские десять рублей. Она пешком пришла, глухою осенью, по грязи. Шум и гам начался в избе из-за денег. Мою мать куда-то увели, и я потом увидел ее в окошко: она шла и несла на спине куль хлеба, денег ей не дали... «И маменька-то меня забыла! Не поглядела, не спросила!» Так меня горе это убило – и сказать невозможно! А того не знаю, что она, маменька-то, была не в себе, и что потом я узнал – ее нарочно поскорей из избы вывели, чтобы она не увидела, как я избит,

а ей сказали, что, мол, сын твой в лесу с мальчиками... Как показалось мне, что и мать родная меня покинула, тут я и решил окончить мою жизнь... Ночью потихоньку слез с печи, достал ножик и опять на печь забрался... Взял ножик и подношу к шее... Но вдруг закашлялся кто-то и проснулся, стал ходить по избе, потом стал искать ковшика с водой... Я жду, когда он ляжет спать, а он не ложится: огонь зажег, мазь какую-то достал, охал, ноги растирал... А я все жду, сижу с ножом в руке... Ждал, ждал... и вдруг – проснулся! Толкает меня за плечо старушка бабушка, самая коренная женщина в семействе, толкает за плечо и говорит: «Ты чего это ножик-то в руках держишь?» А я и сам уж не помню, зачем у меня нож в руках... И не помню, как заснул; после сечения устал я весь, пять ночей не спал и пять суток не ел – сморило меня вконец... А старушка-то поняла мое горе... Взяла нож из рук, заплакала, велела мне слезть с печки, дала хлеба, а потом и говорит: «Ну, сирота горькая! Одевайся ты в дорогу, пока наших дома нету, да иди с богом к своей матери! Не житье тебе здесь в волчьей берлоге... Будет над нами наказание божие, чует моя душа... Легко ли дело, людей покупать стали!» Одеда меня, поблагословила, вывела на улицу и постояла, подождала мужиков. Едут какие-то. «Куда едете?» – «Туда-то». – «Подвезите мальчика!» Меня подвезли... Увидал я маменьку – все во мне так и растаяло, ожил я. Рассказал ей свою жизнь, рубаху снял, тело ей показал мое... А она только слезами заливается и сказала мне,

отчего обо мне не спросила, как была у старости. Так вот, каково легко мне было жизнь мою начинать... Не проснись мужик ночью – полыхнул бы я себя по горлу... Да господь меня спас! «И с этого дня я в бога уверовал твердо. Никто меня ничему не учил, и что есть бог, я не знал. Знал, что бог на небе, а настоящего-то бога не знал. А теперь я явственно узнал, что он видит меня постоянно, что он смотрит на меня, на мои дела. Он тут близко. Теперь твердо знал, что я не один на свете. Около меня есть попечитель, он меня бережет, не даст погибнуть... И я вот всю жизнь мою живу по его повелению... Что ни случись, куда меня ни кинь, мучай меня, а я уж твердо знаю, что есть надо мной око и, стало быть, надо только слушаться повеления божия... А без бога бы мне не прожить, и году не продышать... Так-то!..

«И уж как меня нужда била об землю и бросала по свету! К какому только ремеслу я ни касался? И плотницкой части касался, и сапожной, топорной и слесарной... да, то есть нету такого мастерства, чтобы я не брался за него по нужде, из куска хлеба... И кое-что сам и сейчас могу сделать, не пойду в люди... Сапоги починить, даже сшить могу, и раму сделаю, и обручи набью... Но только было это не учение, а испытание божие... Кабы у нас было мало-мальски настоящее учение мастерству, мы бы бога благодарили: по дому для хозяйства много надо знать... А то ведь у нас зрятина одна... Говорят – «был в ученье». Это значит, что года четыре детей у хозяйина нянчил, воду носил, дрова колот, пьяного «самого» из

кабака приводил и смертный бой принимал... А уж учился, когда бог даст. Да и где знать нам, какие где есть мастерские места?.. Иной и мастер настоящий, а о нем никто не знает, и вывески написать не сумеет... Идешь за хлебом куда глаза глядят! Иной раз, бывало, и в самом деле приткнешься к какому-нибудь порядочному месту и начнешь настоящим родом обучаться, и даже деньжонок соберешь рублишек десятков – хватать, паспорта не высылают, на земле недоимки накопилось. А без паспорта жить нельзя. Надо все бросить, идти в деревню, в волость просить... Я от своей земли, как от злого врага, всю жизнь страдал, пока сам к ней не пришел навеки... Отдали мы нашу нарезку с маменькой одному мужику – «владей, мол, и подати плати»... Забожился, клятву дал, а через четыре года меня вытребовали, как недоимщика. «Хоть десять-то целковых дай!» И того не дал. А все деньжонки, какие в мастерстве нажил, все за паспорт отдал, в дороге проел, и опять иди, ищи по свету работы – так все я и не доучивался. Отнял я землю от мужика, про которого сказывал, передал самому старшине, и тот взялся платить и лет пять высылал паспорт без препятствия, а потом вдруг проворовался, из старшин его выгнали, а с меня за все пять лет стали требовать и опять всего разорили, от труда оторвали, и опять иди куда хошь! Ни призору, ни порядку, ни науки – ничего нашему брату рукомесловому человеку нету! А иной раз и сам бросишь мастерство-то, затоскуешь, заплачешь по маменьке, по сестрам – бросишь все и уйдешь искать, разуз-

навать, где они и как живут. Об отце даже раз так соскучился, что три месяца прослонялся – полк ихний искал, и что же? Тут мы с ним целый месяц оба пьянствовали с тоски! Конечно, – пока деньги были у меня, а там опять разошлись на веки веков... Мать-то мою я завсегда почесть находил, а вот сестер подолгу не видал... Отдала их мать в Питер в ученье и сама по годам не могла знать, какая их участь... Тоже жизнь ихняя тиранская! Одна-то теперь, говорят, за сапожником, а про другую нехорошо говорят – да ведь осуждать-то нельзя! Может, и ее господь вызволит... Кабы были у меня мало-мальски деньжонки, беспременно бы разыскал и домой привез! Ну, а ведь мало ли что!

«Вот так и толкало меня и пихало из стороны в сторону, без толку, без наученья, впроголодь и проголодь... И только потому я жил и живу, что уверился в божием повелении. Стало быть, надо так и, следовательно, должно так жить и не впадать в искушение... А искушения бывали... Раз было чуть не продался в мужья одной купеческой любовнице... И красивая, и деньги давала, и соблазн во мне заговорил, а подумал я, понял, что это дьявол меня подбивает на грех – и сбежал. С вечеринки сбежал – скандалу наделал!.. И бог помогал!

«А однажды прямо уж по божьему указанию вышло, и так премудро вышло, что даже сообразить невозможно от удивления! Вот какое было дело... Ведь наш брат, голодный человек, должен браться за всякое дело, какое бог пошлет.

Иной раз и соврешь с голоду-то... «Умеешь это делать?» – спросит хозяин. «Умею!» И нанимаешься, а сам даже и в глаза-то дела этого хозяйского не видал. Станешь на дело незнакомое, глядишь на других, притворяешься, высматриваешь – только бы похарчили хоть раз в день, а там прогоняй и денег не плати. Иной раз и ловко поймешь, в чем дело, а иной раз и сразу увидят, что обманул, в шею натолкают, со двора выгонят. А отказываться от дела, когда человеку есть нечего, невозможно. Вот раз я и попал на сенную барку рабочим. Сено гнать по Волхову и по каналам в Петербург. Отроду я не знал этого дела. Был перед тем у сапожника, а теперь вот на барке еду. А на Волхове пороги большие, места трудные, иной раз барка вертится на омуте как перышко, иной ее одно ударит и водой нальет. Народ надобен бойкий, ловкий, сильный, бесстрашный, а я уж от одного страху-то перед водой и то трясусь и в толк ничего не могу взять. Стали на меня покрикивать, а потом и в загривок поталкивать, видят, что я дела не знаю к могу вреда наделать. Да и я-то вижу, что мне несдобровать, высадят на берег, вот и сказ весь. И ведь точно, высадили, и оченно скоро высадили, только случай для этого вышел необыкновенный: одолела меня сразу куриная слепота. Сели обедать, а я и не вижу, куда ложкой-то тянуться, хлопаю ею по столу. И ведь какая премудрость божия! Ведь высадить-то высадили бы непременно, а что бы я стал делать, куда бы пошел? Денег ни полушки, ни хлеба, ничего нет и местов не знаю. И надо же было мне по божию

указанию ослепнуть, и ослепши был я высажен на берег в одном селе, и тут опять бог меня не оставил, а наслал на меня доброго человека, и этот добрый человек отвел меня, слепого, в земскую больницу: продержали меня здесь целую неделю; лечить не лечили, а кормили и поили. Вот ведь как, да и это не все! Как сняло с меня куриную-то слепоту, подходит ко мне доктор молодой, спросил меня, разузнал мою жизнь, увидел, что я на чужой стороне без всяких способов, дал три целковых и дорогу в Питер указал. Ведь надо же все это сделать так премудро!.. Кто же как не бог-то? Да и это еще не все! Послушай-кось, какие чудеса-то вышли. Иду это я в Петербург пешком по Шлиссельбургскому тракту, и вот веришь ли? Неизвестно каким родом лежит мне на дороге разбитая гармония. Иду, а гармония лежит – и все! Думаю: взять или не взять? Думал, думал – взял. Сел у дорожки и стал рассматривать; рассматривал, разбирал, и так мне стало любопытно, что я и не заметил, как, почитай, полсуток времени ушло на эту разборку... Перво-наперво я ее разобрал, а потом и опять собрал. Собрал я ее и пошел – глядь, навстречу идет мастеровой, смотрит на гармонию и говорит: «Это моя!» Я говорю: «Возьми! я на дороге поднял». Взял мастеровой свой инструмент и ушел. И что ж ты думаешь?.. Годов через пять было у меня в жизни такое голодное время, кажется отроду так не бывало. Всякую мелочь продал – ну, окончательно без всего остался и без угла даже. Что делать? За что взяться? И вдруг мне входит в ум воспомина-

ние, как я гармонию разобрал и собрал. И пошел по мастеро-
вым, около фабрик выпрашивать: «Нет ли гармоний почи-
нять?» – «Ты гармонщик?..» – «Гармонщик!» (С голоду на
все согласишься.) – «Есть». И наташили мне с десятка гар-
моний. С этим товаром я угол занял, доверие на клейстер,
на кожу – всего на полтинник – мне хозяйка оказала, и я со
страхом и трепетом принялся за дело... Да ведь так выпра-
вился помаленьку да полегоньку, что первым гармонщиком
стал в Александровском. Комнату нанял, пинжак приобрел,
денег набило мне в карман до пятнадцати серебром и пошел
бы в гору, да из деревни опять бумага: «Не даем паспорта,
недоимка». Ну, все и пошло прахом! Так вот это означает
божий промысел! Кабы не божие указание, кто бы чему ме-
ня научил? Какая наука нашему брату? А тут – подумай-ко,
сколько премудрости-то господней! Ведь надо же было все
это в этакой тонкости созидать!.. Ведь недаром на барку-то
попал. Недаром ослеп, недаром гармонию нашел! Этого на-
шим умом не сообразишь, а надо так понимать, что господь
блюдет над человеком и указывает ему пути. Нет! Только бо-
жия помощь и явственна в нашей жизни. А посмотрите на
нашу жизнь так-то, без божьего-то указания, так это истинно
– пропасть нашему брату надо, только и всего! Другой уча-
сти нам нет. Брошены мы как мякина на ветер...

«...И наконец, скучно уж мне стало шататься-то! В по-
следний раз, как вытребовали меня в деревню из-за недоим-
ки, думаю – «не пойду! пробьюсь как-нибудь...» Подошел

сенокос, ищут косцов, пошел и я к одному мужику... В первый раз косу в руки взял, махну – хоть бы травинка упала! – словно по льду косою бью – только звенит! Стыд меня ест, срам, а хозяин (добрый он мне тогда мужик показался) видит мое старание, понимает, что ревность-то у меня есть, что работник я хороший, только ничего не умею путем сделать, – смеется, ласково так говорит: «Ничего, обойдется, вот тебе Семен покажет. Семен, говорит, покажи ему!..» Ушел да, а Семен стал мне косу поправлять; повертел, постучал, – «на», говорит. Пошел я, и опять ничего толку нет. Что ты будешь делать? А косило нас трое: Семен, я да женщина. Женщину-то я не рассмотрел и даже не поглядел на нее – своего дела было много... И раз мне Семен косу направил, и два, и три. И все я только рву да мну траву-то, а толку-то нет никакого. Ударило меня в краску и в стыд... Устал я так, что, кажется, в молотобойцах так не устанешь за целый день, как я тут в два часа измаялся. А тянет меня научиться косить – шибко! Понравилось мне все это: поле, трава, птички и работа приятная – а нет вот! Не дает бог! И вдруг происходит такое дело божие: ушел Семен куда-то прочь и остались в поле я да женщина. И подходит ко мне эта женщина и говорит: «Что ты бьешься понапрасну? Семен тебе завсегда так косу посадит, что ты совсем ничего не сделаешь... Он завистливый, боится, чтобы ты ему работы не перебил и чтоб хозяин тебя не полюбил. Дай-ко мне косу-то, я тебе налажу...» Дал я косу ей и поглядел... И так она мне понравилась: му-

жественная девица, серьезная, работающая!.. Постучала она что-то брусом, погнула косу, тронула ею – хорошо выходит! «На-ко, говорит, попробуй теперь!..» Как взял я, как пошел – и сам себе не верю! Пошло мое дело в ход сразу, с легкой руки – и загорелось у меня ретивое. И так я с этого часу полюбил эту девушку, так она мне во всем пришлась по сердцу – сказать не могу... И вижу – и она рада: стоит, смотрит на мое дело, хвалит, поправляет, а потом опять поплевала на руки и сама пошла с косой... И так мне стало радостно: позабыл я все мои горести и точно стал из мертвых воскресать... Так вот премудрость-то божия и опять обозначилась в моей жизни! Ведь эта девушка-то теперича, бог дал, моя жена Дарья Петровна... Вот ведь какое предопределение-то! Подумай-ко ты...

«Да, теперь мы поженившись. А не скоро она мне досталась; оба мы помаялись, пока мужем и женой стали. Хозяин, у которого я нанялся косить, был родной брат этой самой девицы; а кроме того, у ней же была замужняя сестра в другой деревне, и было у этой сестры пять человек детей, да у брата с женой четверо. Вот эти-то два семейства и препятствовали. Везде нужна хорошая работница, а такая, как моя Дарья, и подавно. Работницу нужно нанимать, а родной сестре можно и копейки не дать. Вот они-то нас и затиранили. А сошлись мы с Дарьей и крепко подружились тут на покосе, потом всю осень на посиделках виделись. И так мне понравилось в деревне, так все порядочно, хорошо, а главное Дарья-то мне

свету придает – «не уйду, думаю, отсюда никогда!» Однакож не посмел Дарье объяснить вскорости, потому что не с чем мне взяться. Все лето работал, как вол воротил, осенью опять встретились, а на Покров, выпивши на празднике, осмелился я и сказал Дарье. «Согласна!» говорит, руку мне пожала и залог дала. Залог – это вроде как задаток, для верности... Дала она мне узелок, а что в этом узелке было, так я даже и не видал никогда. Так я ее полюбил и уважал, что мне ей не доверять невозможно было. Вот как наше решенье-то узнали – и стали разные махины подводить.... Умирает Дарьина сестра и оставляет пять человек детей... Приехал ее вдовый муж прямо к Дарье. «Поедем, говорит, ко мне, походи за детьми... Сестра как умирала, так просила... Поживи месяц, пока справлюсь, тогда отпущу». Нечего было делать, поехала Дарья, да не на месяц, а полгода прожила и вестей мне не давала. А тем временем братнина жена, которой Дарья также нужна была, стала меня отговаривать от нее... Думает: как Дарья воротится, так у нее останется, а он (то есть я) уйдет в другое место работать и оставит Дарью. Стали мне Дарью без всякого зазрения порочить. Ведь они, бабы-то, ловко умеют сплести дело! Сплела про нее такое, что и сказать невозможно... «Она, говорит, и вестей-то не дает о себе, потому связавши...» Я и призадумайся. А вестей нет. Сижу так-то раз, работаю с печниками, входит Дарьина брата жена и говорит: «Дарья приехала. Залог спрашивает!» И так грубо... Что ж? Взял я узелок, как был – отдал... Горько мне стало... Так

прошел день. Смотрю, сама Дарья идет ко мне... «Ты зачем залог возвратил?» – «Так и так!» говорю. Все ей рассказал, а сам гляжу ей в глаза и вижу, что чистая у нее душа, непорочная, и сам я тут раскаялся в мыслях... Плакала она тут, обижалась на меня, и опять я у ней залог взял... Только что стали думать, как быть, – хватить, муж сестрин в волость Дарью тащит... Дарья-то, живя у него больше полугодом, говорит ему: «Заплати мне хоть сколько за труды – все мне на свадьбу». Тот обещал, а когда сам женился во второй раз, то Дарью прогнал, денег ей не дал, а чтобы она не взыскивала, сам на нее подал жалобу, что обокрала, вишь, его на огромнейшие суммы. Вот ведь какие бывают люди злющие!.. Насрамили Дарью ни за что ни про что... А времени прошло много, и все не по-хорошему, и мои-то дела не складны; заработок плохой-преплохой, и жить нам обоим плохо, а жениться – нечем взяться в хозяйстве!

«Однако, как судил нам бог жить вместе, так тому и быть надо. Пришла весна, повидались мы с Дарьей и так решили: венчаться не будем – не на что и жить негде. А пойдем мы вместе деньги работой добывать... И ушли вдвоем, как брат с сестрой... И так мы работали с ней все лето, а осенью уж и жить стали, и все не венчавшись. Совестно было мне людей, и Дарья-то измучилась совсем от этого. А венчаться-то надобно – была уж и тяжела... Пришло так, что надо непременно; пошли мы с Дарьей пешком в село, к священнику... Проработали вместе с ней у него целую неделю – повенчал.

Опять без всяких угощений и церемоний домой воротились в квартиру... Я в то время всякую работу делал, какая попадалась, и сапоги чинил, и по плотницкой части – кой-как кормились. А как родился ребенок-то – тут уж и страшно стало! Так жить нельзя... Надобен угол, крестьянство... Вот тут и опять только бог помог... Дал мне Емельянов денег дом купить. Купил я дом, переплыл с ним на старое пепелище, стал жить на квартире, всякую мелочь работать. А летом с женой стали наниматься косить, а ребенка оставляли до ночи у старухи... Косили мы до упаду, потому праздниками с чужой работы на свою шли и своего сена накопили в этот год на восемьдесят рублей... Вот в эту пору и начали строить свою избушку... Ну вот так оно с божией помощью помаленьку и идет... Так вот какая жизнь-то наша! Так что ж, нешто не рай мне теперь в избушке-то?.. Куда ты меня из нее выгонишь?..».

Много рассказывал мне Михайло, но и того, что мне теперь пришлось передать из этих рассказов, слишком много, чтобы порадоваться за Михайлу: теперь он не бесприютен – у него есть избушка на курьих ножках.

Примечания

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике» 1887, XII, как четвертая, с особым заглавием, глава рассказа «Осенью. (Заметки деревенского обывателя)», вне связи с циклом «Кой про что». В архиве Успенского сохранились лишь небольшой отрывок из середины рассказа и грани второй половины рассказа, незначительно, в отдельных словах и выражениях, отличающиеся от журнального текста и текста Сочинений.

Рассказ (ср. «Развеселил господ») построен на противопоставлении идеализированного представления о крестьянской жизни в труде для себя (хотя и с оговоркой: «если только благополучно утвердиться») – тяжелой жизни оторвавшегося от земли крестьянина, скитающегося на заработках по городам и селениям. Но жизнь Михайлы с женой, осевших опять на землю, и в крестьянстве показана писателем-реалистом без народнической идеализации – в тяжком труде и во всевозможных «недостачах», в «большом горе людей, живущих в маленькой избушке».